



**РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
1960–1970-х ГОДОВ**

ИЗ СБОРНИКА
«ДЕМАРШ ЭНТУЗИАСТОВ»

ХОЧУ БЫТЬ СИЛЬНЫМ

Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. Коллекционировал мелкие деньги. Смущался. Не пил...

Хорошее было время. (Если не считать культа личности.)

Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в девяносто шесть рублей?

Я вел размеренный, уединенный образ жизни и написал за эти годы два письма.

Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь — красивая, исполненная блеска. Там пишут романы и антироманы, дерутся, едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер...

Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина — 340 метров, а ширина и высота зданий — 34 метра. Впрочем, это не имеет значения.

Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль

улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции...

Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины! Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяйева жизни.

Распахивается дверца собственного автомобиля. Появляются ноги в ажурных чулках. Затем — синтетическая шуба, ридикюль, браслеты, кольца. И наконец — вся женщина, готовая к решительному, долгому отпору.

Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке...

Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве домоуправления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом. Пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова.

- Привет, — сказал мне тренер, — как делишки?
- Помаленьку, — отвечаю. — Где тут выход?..

С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя. Уснувшие за рулем шоферы. Безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую...

Бородатый литсотрудник долго искал мою рукопись. Роясь в шкафах, он декламировал первые строчки:

- Это не ваше — «К утру подморозило...»?
- Нет, — говорил я.
- А это — «К утру распогодилось...»?

— Нет.

— А вот это — «К утру Ермил Федотович скончался...»?

— Ни в коем случае.

— А вот это, под названием «Марш одноногих»?

— «Марш одиноких», — поправил я.

Он листал рукопись, повторяя:

— Посмотрим, что вы за рыбак... Посмотрим...

И затем:

— Здесь у вас сказано: «...И только птицы кружились над гранитным монументом...» Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы?

— Ничего, — сказал я, — они летают. Просто так. Это нормально.

— Чего это они у вас летают, — брезгливо поинтересовался редактор, — и зачем? В силу какой такой художественной необходимости?

— Летают, и все, — прошептал я, — обычное дело...

— Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос?..

От ужаса я стал шевелить пальцами ног.

— Еще один вопрос, последний. Вы — жаворонок или сова?

Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу.

Вслед донеслось:

— Минуточку! Хотите, дам один совет в порядке бреда?

— Бреда?!

— Ну, то есть от фонаря.

— От фонаря?!

— Как говорится, из-под волос.

— Из-под волос?!

— В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно — Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было...

С литературой было покончено.

Дни потянулись томительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девичей Фридой Штейн.

Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню, как Тору, — справа налево. Мы заказали блинчики и кофе.

Фрида сказала:

— Все мы — люди определенного круга.

Я кивнул.

— Надеюсь, и вы — человек определенного круга?

— Да, — сказал я.

— Какого именно?

— Четвертого, — говорю, — если вы подразумеваете круги ада.

— Bravo! — сказала девушка.

Я тотчас же заказал шампанское.

— О чем мы будем говорить? — спросила Фрида. — О Джойсе? О Гитлере? О Пшебышевском? О черных терьерах? О структурной лингвистике? О неофрейдизме? О Диззи Гиллеспи? А может быть, о Ясперсе или о Кафке?

— О Кафке, — сказал я.

И поведал ей историю, которая случилась недавно:

«Прихожу я на работу. Останавливает меня коллега Барабанов.

— Вчера, — говорит, — перечитывал Кафку. А вы читали Кафку?

— К сожалению, нет, — говорю.

— Вы не читали Кафку?

— Признаться, не читал.

Целый день Барабанов косился на меня. А в обеденный перерыв заходит ко мне лаборантка Нинуля и спрашивает:

— Говорят, вы не читали Кафку. Это правда? Только откровенно. Все останется между нами.

— Не читал, — говорю.

Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым...

Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был, по обыкновению, с некрасивой девушкой.

— В Ханты-Мансийске свободно продается Кафка! — издали закричал он.

— Чудесно, — сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше.

— Ты куда? — обиженно спросил геолог.

— В Ханты-Мансийск, — говорю.

Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома.

Рома обнял меня за ногу и сказал:

— А мы с бабуленькой Кафку читали!

Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу.

— Тебе понравилось? — спросил я.

— Более или менее, — ответил Рома.

— Может, ты что-нибудь путаешь, старик?

Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел:

— РУФКИЕ НАРОДНЫЕ КАФКИ!

— Ты умный мальчик, — сказал я ему, — но чуточку шепелявый. Не подарить ли тебе ружье?

Так я и сделал...»

— Bravo! — сказала Фрида Штейн.

Я заказал еще шампанского.

— Я знаю, — сказала Фрида, — что вы пишете новеллы. Могу я их прочесть? Они у вас при себе?

— При себе, — говорю, — у меня лишь те, которых еще нет.

— Bravo! — сказала Фрида.

Я заказал еще шампанского...

Ночью мы стояли в чистом подъезде. Я хотел было поцеловать Фриду. Точнее говоря, заметно пошатнулся в ее сторону.

— Bravo! — сказала Фрида Штейн. — Вы напились как свинья!

С тех пор она мне не звонила.

Дни тянулись серые и неразличимые, как воробьи за окнами. Как листья старых тополей в унылом нашем палисаднике. Сон, кефир, работа, произведения Золя. Я заболел и выздоровел. Приобрел телевизор в кредит.

Как-то раз около «Метрополя» я повстречал бывшего одноклассника Секина.

— Где ты работаешь? — спрашиваю.

— В одном НИИ.

— Деньги хорошие?

— Хорошие, — отвечает Секин, — но мало.

— Bravo! — сказал я.

Мы поднялись в ресторан. Он заказал водки.

Выпили.

— Отчего ты грустный? — Секин коснулся моего рукава.

— У меня, — говорю, — комплекс неполноценности.

— Комплекс неполноценности у всех, — заверил Секин.

— И у тебя?

— И у меня в том числе. У меня комплекс твоей неполноценности.

— Bravo! — сказал я.

Он заказал еще водки.

— Как там наши? — спросил я.

— Многие померли, — ответил Секин, — например, Шура Глянец. Глянец пошел купаться и нырнул. Да так и не вынырнул. Хотя прошло уже более года.

— А Миша Ракитин?

— Заканчивает аспирантуру.

— А Боря Зотов?

— Следователь.

— Ривкович?

— Хирург.

— А Лева Баранов? Помнишь Леву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад?

— Баранов в тюрьме. Баранов спекулировал шарфами. Полгода назад встречаю его на Садовой. Выходит Лева из Апраксина двора и спрашивает:

«Объясни мне, Секин, где логика?! Покупаю болгарское одеяло за тридцать рэ. Делю его на восемь частей. Каждый шарф продаю за тридцать рэ. Так где же логика?!.»

— Bravo! — сказал я.

Он заказал еще водки...

Ночью я шел по улице, расталкивая дома. И вдруг очутился среди колонн Пушкинского театра. Любовники, бретеры, усачи прогуливались тут же. Они шуршали дакроновыми плащами, распространяя запах сигар. Неподалеку тускло поблескивали автомобили.

— Эй! — закричал я. — Кто вы?! Чем занимаетесь? Откуда у вас столько денег? Я тоже стремлюсь быть хозяином жизни! Научите меня! И познакомьте с Элиной Быстрицкой!..

— Ты кто? — спросили они без вызова.

— Да так, всего лишь Егоров, окончил матмех...

— Федя, — представился один.

— Володя.

— Толик.

— Я — протезист, — улыбнулся Толик. — Гнилые зубы — вот моя сфера.

— А я — закрыщик, — сказал Володя, — и не более того. Экономно выкраивать гульфик — чему еще я мог бы тебя научить?!

— А я, — подмигнул Федя, — работаю в комиссионном магазине. Понадобятся импортные шмотки — звони.

— А как же машины? — спросил я.

— Какие машины?

— Автомобили? «Волги», «Лады», «Жигули»?

— При чем тут автомобили? — спросил Володя.

— Разве это не ваши автомобили?

— К сожалению, нет, — ответил Толик.

— А чьи же? Чьи же?

— Пес их знает, — откликнулся Федя, — чужие. Они всегда здесь стоят. Эпоха такая. Двадцатый век...

Задыхаясь, я бежал к своему дому. Господи! Торговец, стоматолог и портной! И этим людям я завидовал всю жизнь! Но про автомобили они, конечно, соврали! Разумеется, соврали! А может быть, и нет!..

Я взбежал по темной лестнице. Во мраке были скуповато рассыпаны зеленые кошачьи глаза. Пугая кошек, я рванулся к двери. Отворил ее французским ключом. На телефонном столике лежал продолговатый голубой конверт.

Какому-то Егорову, подумал я. Везет же человеку! Есть же такие счастливики, баловни фортуны! О! Но ведь это я — Егоров! Я и есть! Я самый!..

Я разорвал конверт и прочел:

«Вы нехороший, нехороший, нехороший, нехороший, нехороший!»

Фрида Штейн

Р. С. Перечитайте Гюнтера де Бройна, и вы разгадаете мое сердце.

Ф. Штейн

Р. Р. S. Кто-то забыл у меня в подъезде сатиновые нарукавники.

Ф. Ш.»

Что все это значит?! — думал я. Торговец, стоматолог и портной! Какой-то нехороший Егоров! Какие-то сатиновые нарукавники! Но ведь это я — Егоров! Мои нарукавники! Я нехороший!.. А при чем здесь Лев Толстой? Что еще за Лев Толстой?! Ах да, мне же нужно перечитать Льва Толстого! И еще — Гюнтера де Бройна! Вот с завтрашнего дня и начну...

БЛЮЗ ДЛЯ НАТЭЛЛЫ

В Грузии — лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа...

Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает: баррикады пушистых ресниц — неприступны.

В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою — длиннее, и все.

В Грузии — лучше. Там все по-другому...

Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха. Ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет! Твой портрет, Бокучава Натэлла!

О Натэлла! Ты — чаша на пиру бородатых и сильных! Ты — глоток родниковой воды после драки! Ты — грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон! Ты — ливень, который застал нас в горах! И дерево, под которым спаслись мы от ливня! И молния, разбивающая дерево в щепки!.. Ты — юность прекрасной страны!..

Каждое утро Натэлла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли.

Натэлла уплывает, изменчиво белея под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда «изабель». А за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник.

Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.

— Арчил, — заявила ему старуха Кеке Пирадзе, — я жду. Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться.

— Хорошо, — сказал Арчил.

Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке.

Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Натэлла ступает по гладким камням...

Что на свете прекраснее этой картины?! Каково это видеть Арчилу Пирадзе?! Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь?!

И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше. Затем нажимает курок.

Дым медленно рассеивается, смолкает грохот. Затихает далекое эхо в горах.

— Это опять вы, Пирадзе? — строго говорит Натэлла. — Так я и знала. Сколько это может продолжаться?! Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели пятнадцать суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?

— Я стал другим человеком, Натэлла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я — студент.

- В это трудно поверить.
- У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?
- Взятку кому-нибудь дали?
- Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником.
- Я рада за вас.
- Так вернись же, Натэлла. У тебя будет все — патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать.
- На чем?
- На карусели.
- Не могу. При всем обаянии к вам.
- Я изменился! — воскликнул Пирадзе. — Учусь. Потом и градом мне все достается, Натэлла!
- Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий, я дала ему слово.
- Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу.
- Как она называется?
- Она называется — повесть.
- И больше никак?
- Она называется — Серафимович!
- Лично я импонирую больше Толстому, — сказала Натэлла.
- Я прочту его книги. Пусть не волнуется.
- Тихо! — сказала Натэлла. — Вы слышите? Из-за кустов доносились нежные слова:

Ты сказала мне — нет!
И по снегу, эх, по снегу ушла.
Был суров твой ответ,
Ночь в мученьях,
ах, в мученьях прошла...

По дороге медленно шел киномеханик Гиго Зандукели с трофейной винтовкой. Тридцать шесть лет оружие

пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин.

Завидев Натэллу с Пирадзе, Гиго остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.

— Вы пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлевич? — спросила Натэлла.

— Есть маленько, — ответил Гиго.

— Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гиго! Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он — настоящий мужчина. Я дала ему слово...

Тут вмешался Пирадзе:

— Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бокучаву Натэллу?

— А кто дал это право тебе? — спросил Зандукели.

Одновременно прозвучали два выстрела.

Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем — печальный и укоризненный голос Натэллы:

— Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!

— И верно, — сказал Пирадзе, — зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!

— Пожалуй, — согласился Зандукели.

Пирадзе достал из кармана «маленькую». Сорвал зубами жестяную крышку.

— Наполним бокалы! — сказал он.

Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать.

— Жаль, нечем закусить, — сказал Арчил.

— У меня есть луковица, — обрадовался Зандукели, — держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют.

— Будь здоров, Рабинович Григорий! — сказали они, допивая...

Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе — тесно и сыро.

Завтра в одном ЦКБ инженер Бокучава склонится над кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы.

Натэлла шла вдоль перрона. Остался наконец позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы. Забыты боконогие ребятишки, которые смотрели поезду вслед.

Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Натэллу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный — буду идти до конца.

Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей!

ЭМИГРАНТЫ

Район Новая Голландия — один из живописных уголков Ленинграда...

Путеводитель

Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн.

В грязном маленьком сквере проснулись одновременно Чиквайдзе и Шаповалов.

Ах, как славно попито было вчера! Как громко спето! Какие делались попытки танца! Как динамичен был замах протезом! Как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров! Как был хорош охваченный лезгинкой Чиквайдзе! (Выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над

духом.) И как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари... И вот теперь проснулись на гряде щепня...

Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали.

Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поспориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду.

— Я тебя зарежу! — вскричал Чикваидзе. (Шаповалов отдал ему ногу.)

— Не тебя, а вас, — исправил Шаповалов.

Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова:

— Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в Доме кино...

С тех пор они не расставались.

Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков.

Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем.

— Где мы находимся? — обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе.

— В Новой Голландии, — спокойно ответил тот.

Качнулись дома. Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремила к горизонту.

— Ничего себе, — произнес Шаповалов, — хорошенькое дело! В Голландию с похмелья забрели!

— Беда, — отозвался Чикваидзе, — пропадем в незнакомой стране!

— Главное, — сказал Шаповалов, — не падать духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Расскажем все чисто-сердечно, может, и простят...

— Я хочу домой, — сказал Чикваидзе. — Я не могу жить без Грузии!

— Ты же в Грузии сроду не был.

— Зато я всю жизнь щи варил из боржоми.

Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты.

— Обрати внимание! — закричал Чикваидзе. — Вот изверги! Чернокожего повели линчевать!

И верно. По людной улице, возвышаясь над толпой, шел чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки...

— Будем тайком на родину пробираться, — сказал Чикваидзе.

— Беднейшие слои помогут, — откликнулся Шаповалов.

Они перешли мост. Затем миновали аптеку и пестрый рынок.

— Противен мне берег турецкий, — задумчиво выводил Чикваидзе.

— И Африка мне ни к чему, — вторил ему Шаповалов.

Друзья шли по набережной. Свернули на людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло мороженое. Улыбались женщины и светофоры.

— Посмотри, благодать-то какая! — неожиданно воскликнул Шаповалов.

— Живут неплохо, — поддакнул Чикваидзе.

— А как одеты!

— Ведь это — Запад!

— Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!

— Еще бы! Тут за этим следят!

- Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов.
- Датики, я хочу с тобой поговорить.
 - И я.
 - А ты презирать меня не будешь?
 - Нет. А ты?
 - Может быть, того... Ну, как его?.. Убежища попросим... Опять же, частная торговля...
 - Ночные рестораны!
 - Законы джунглей!
 - Торжество бездуховности!
 - Ковбойские фильмы!
 - Моральное и нравственное разложение! — зажмурился Чикваидзе...

Через минуту друзья, обнявшись, шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.

ПОБЕДИТЕЛИ

Дело происходит в спортивном зале академии Можайского. Все мужчины здесь — широкоплечие. Манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком — Жульверн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку Русский Лев...

Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов.

Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал:

- Прости, что за вопрос тебе достался?
- Пушкин, — говорил один.

— Мне повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!

— Лермонтов, — говорил второй.

— Повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!

Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано: «Гоголь».

— Вай! — закричал Хачатурян. — Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил!..

Впрочем, мы отвлеклись.

Информатор произнес в микрофон:

— Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска! В красном — Олег Гарбузенко из Мелитополя!

Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты.

Борцы пожали друг другу руки и начали возиться.

Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства.

Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы.

— Пассивная борьба! — выкрикнул информатор. — Спортсменам делается замечание!

Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. Бра руле, двойной нельсон, захват, подсечка... Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку...

— Синий не борется! — орали зрители. — Халтура! И красный не борется!..

Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали.

Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга.

Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жульверн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов.

Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни.

— Если бы ты знал, как я ненавижу спорт, — произнес Аркадий Дысин, — гипертония у меня.

— И у меня, — сказал Гарбузенко.

— Тоже гипертония?

— Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем — целый день без сна. То одно, то другое...

— Пора завязывать, старик!

— Давно пора...

— Прости, кто выиграл? — заинтересовался очнувшийся Жульверн Хачатурян.

— Какая разница, — ответил Гарбузенко.

Потом он сел на ковер и закурил.

— То есть как? — забеспокоился Хачатурян. — Ведь иностранцы наблюдают! «Расцветали яблони и груши...» — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов.

— «Поплыли туманы над рекой», — живо откликнулись корреспонденты Гарри Зонт и Билли Ард.

— Аркаша выиграл, — сказал Гарбузенко, — он красивый, пусть его и фотографируют.

— И ты ничего, — возразил Аркадий Дысин, — ты — смуглый.

— Короче, ты судья, Жульверн Арамович, ты и решай, — высказался Гарбузенко.

— Какой там судья, — покачал головой Хачатурян. — Бог вам судья, ребята.

— Идея! — сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер.

— Орел! — закричал Гарбузенко.

Дысин задумался.

— Решка, — молвил он наконец.

Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка.

— Победила дружба! — торжественно выкрикнул он.

Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон.

Три старушки деликатно уступили им места.

ЧИРКОВ И БЕРЕНДЕЕВ

К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума.

— Дядя, — сказал он, — помогите! Окажите материальное содействие в качестве двенадцати рублей! Иначе, боюсь, пойду неверной дорогой!

— Один неверный шаг, — реагировал дядя, — ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал.

— Тогда, — сказал Чирков, — разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться.

— И это утопия, — сказал культурный дядя, — взгляни! Видишь, как тесно у нас от импортной мебели? Где я тебя положу? Между рамами?

— Дядя, — возвысил голос захолустный родственник, — не причиняйте мне упадок слез! Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное — сразу иду по неверной дороге.

— Дорогу осилит идущий, — не к месту сказал Берендеев.

— К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоневых кальсон и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы!..

Воцарилась тягостная пауза.

Неожиданно племянник выговорил:

— Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез.

Берендеев приподнял веки. Он просветлел и затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни Осоавиахима. Затем недоверчиво произнес:

— Из буряка?

— Из буряка.

— Очищенный?

— Очищенный.

— Дважды?

— Трижды, дядя, трижды!

— Давай его сюда, — произнес Берендеев, — хочешь взглянуть. Просто ради интереса.

Племянник расстегнул штаны и вытащил откуда-то сзади булькающую грелку.

Дядя принес из кухни макароны, напоминающие бельевые веревки. Достал из шкафа стаканы. Грелка, меня очертания, билась в его руках, как щука.

— Будем здоровы! — сказали они хором.

— Закусывай! — широко угощал дядя. — Соль бери, не жалеешь!

Они выпили снова, покраснелись, закурили.

Дядя разлил по третьей и сказал:

— Эх, Митька! Завидую я тебе! Годиков семь пройдет, и не узнаешь ты родной деревни! Колхозные поля зальем асфальтом! Все пастбища кафелем облицуем! В каждом стойле будет телевизор! В каждой избе — стиральная машина! Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней...

— Этот точно, — поддакивал Митя, — это без сомнения.

Он снял дождевик, повесил на гвоздик. Гвоздик оказался мухой и взлетел. Дождевик упал на пол.

— Чудеса, — сказал Митя.

Затем он тайком развязал шнурки на ботинках.

А дядя все не унимался:

— Коммунизм построим! Поголовную безграмотность ликвидируем! Кухарка будет управлять государством!..

— Это бы не худо, — кивал племянник.

— Есть, конечно, недовольные. Которые на службе у империалистов. Декаденты! Но их мало. Заметь, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных...

— Еще бы, — соглашался племянник.

Они снова выпили.

Неожиданно дядя схватил Митю за руку и прошептал:

— Слышь, давай улетим!

— Это как же?! — растерялся племянник.

— Очень просто. Как Валентина Терешкова. Вдохнем полной грудью. Взглянем на мир широко раскрытыми глазами...

Дядя подошел к окну. Затем распахнул его и вылез на карниз. Митя последовал за ним. Под Митиными башмаками грохотало кровельное железо. Из-под ног его шархнулся голубь, царапая жесь. Пальцами он держался за раму, усеянную бугорками масляной краски.

— Поехали! — скомандовал Берендеев.

— Лечу-у, — отозвался Митя.

И вот герои летят над сонной Фонтанкой, огибают телевизионную башню, минуют пригороды. Позади остаются готические шпили Таллина, купола Ватикана, Эгейское море. Земля уменьшается до размеров стандартного школьного глобуса. От космической пыли слезятся глаза.

Внизу едва различимы горные хребты, океаны, лесные массивы. Тускло поблескивают районы вечной мерзлоты.

— Благодать-то какая! — восклицает полковник.

— Жаль только, выпивка осталась дома, — откликается Митя.

Но дядя уже громко выкрикивает:

— Братский привет мужественному народу Вьетнама! Руки прочь от социалистической Кубы! Да здравствует нерушимое единство стран — участников Варшавского блока!

— Бей жидов, спасай Россию! — откликается Митя...

Приземлились они в два часа ночи. Над дядиным подъездом желтела тусклая лампочка. Черный кот независимо прогуливался возле мусорных баков.

— Ну, прощай, — сказал Берендеев, вынимая ключи.

— То есть как это? — растерялся племянник. — Вы шутите! Вместе космос осваивали, а я теперь должен спать на газоне?!

— Здесь чисто, — ответил ему Берендеев, — и температура нормальная. Июль на дворе. Ну, прощай. Кланяйся русским березам!

Тяжелая, обитая коленкором дверь — захлопнулась.

Несколько минут Чирков простоял в оцепенении. Затем обхватил свою левую ногу. Вытащил зубами из подметки гвоздь, который целую неделю язвил его стопу.

Нацарапал этим гвоздем около таблички с дядиной фамилией короткое всеобъемлющее ругательство. Потом глубоко вздохнул, сатанински усмехнулся и зашагал неверной дорогой.

КОГДА-ТО МЫ ЖИЛИ В ГОРАХ

Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными, таская беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть.

Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи — стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, — огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных.

Шли годы, взвалив на плечи тяжесть расплавленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо. Шли годы...

Когда-то мы жили в горах. Теперь мы населяем кооперативы...

Вчера позвонил мой дядя Арменак:

— Приходи ко мне на день рождения. Я родился — завтра. Не придешь — обижусь и ударю...

К моему приходу гости были в сборе.

— Четыре года тебя не видел, — обрадовался дядя Арменак, — прямо соскучился!

— Одиннадцать лет тебя не видел, — подхватил дядя Ашот, — ужасно соскучился!

— Первый раз тебя вижу, — шагнул ко мне дядя Хорен, — безумно соскучился.

Тут все зарыдали, а я пошел на кухню. Мне хотелось обнять тетюшку Сирануш.